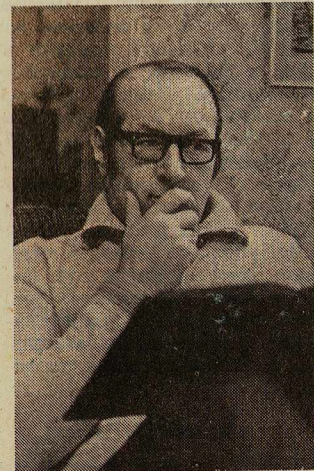




— Игорь Васильевич, сегодня, когда классика не в чести, вы обратились к одному из самых сложных и, может быть, таинственных романов Достоевского «Бесы». Чем оказался этот роман притягательным для вас?

— Действительно, «Бесы» может быть, самое сложное, насыщенное философскими и религиозными проблемами произведение. Оно очень трудно в воплощении, потому что объемно и многопланово, как никакая другая роман Достоевского.

Постановка «Бесов» имеет свою историю. Впервые на сцене МХАТа их поставил Немирович-Данченко, что вызвало ярость революционно настроенной демократической интеллигенции. Судя по тому, что

Игорь Васильевич Таланкин вошел в кинематограф на рассвете 60-х годов и сразу стал победителем. Его первая же (совместно с Г. Даниеля) картина «Сережа» — поэтический и лирический фильм «с человеческим лицом», обращенный к внутреннему миру маленького мальчика, имеющего право голоса и свои желания, был встречен восторженно и у нас, и за рубежом. И все последующие его фильмы, такие, как «Вступление», «Дневные звезды», «Чайковский» и многие другие, стали заметным явлением нашего кинематографа.

О том, что волнует режиссера сегодня, он рассказывает в беседе с нашим корреспондентом Маргаритой Рюриковой.

можно прочитать об этом сегодня, Немировича-Данченко волновало то же, что и меня.

Сценарий писался очень трудно. Мы что-то придумали и уехали в Репино, решив, что за месяц набросаем сценарий. Не тут-то было! Вернулись, не написав ни строчки. Ни над одним сценарием в моей жизни работа не была столь мучительной. Не только материал сопротивлялся, но было и встречное сопротивление — я что-то не принимал, отвергал, что-то меня ужасало, и я считал, что этого делать нельзя. В таком постоянном противоборстве и шла работа.

Фильм называется «Бесы» — с подзаголовком «Николай Ставрогин», — и все действие вращается вокруг этой ключевой и трагической фигуры, которая мечется от веры к полному безверию, нигилизму, невозможности совладать с собой. Знаете, можно много и легко рассуждать о философском, социальном и религиозном аспектах этой вещи, но ткань произведения гораздо глубже

и сложнее того, что можно об этом наговорить. Честно говоря, мне и не хочется говорить об этом подробно, в этом нет смысла. Дело в том, что картина сделана давно и даже куплена ТВ — она должна была появиться на экране осенью. Но до сих пор не вышла.

— По какой причине?

— Я не знаю, но догадываюсь.

— И все-таки, в какой области лежат ваши догадки?

— Бывают картины, которые не устраивают ни тех, ни других. Ведь позиция Достоевского — это позиция человека, умеющего подняться над страстями, столкновениями интересов и увидеть их не изнутри, что подчас ослепляет, лишает какого-то объема, а увидеть все в совокупности. Видимо, эта картина чем-то необычна и, может быть, странна. Но я доволен картиной и актерами, сумевшими донести эту странность.

Когда я говорю «я», это значит «мы» — я имею в виду сво-

его сына. Он постановщик трех моих фильмов, мой друг и единомышленник.

— Значит, у вас в семье нет проблемы поколений?

— Нет, у нас полное единодушие. Я за многое благодарен судьбе — в том числе за жену, с которой прожил более сорока лет, и чувства мои к ней неизменны, и за сына благодарен. Он, может быть, несовершенен, у него нет деловой хватки, но он тонкий, умный и нравственно чистый человек с таким пониманием жизни, каким в его годы я не обладал.

И тут, как это бывает только на театральной сцене, открылась дверь, и вошел сын Игоря Васильевича, Дмитрий, у которого я, несмотря на то, что он очень спешил, очень захотелось выслушать:

— А что для вас, Дима, значит работа с отцом?

— Для меня это большое счастье. Со стороны это, наверное, выглядит чем-то невероятным, так как почти всегда в отношениях разных поколений

возникают сложности и непонимания. И у нас есть, наверное, различия, и весьма существенные, но мировоззрение у нас одно. И я действительно считаю это счастьем, которое нам подарено. Поэтому работа с отцом — это подарок не только в плане творческом, но и чисто человеческом.

Когда я был совсем молодым, я критичнее относился к работам отца. Сейчас я смотрю на них по-другому и не потому, что сработался с отцом или стал к нему снисходителем. Дело в том, что, надеюсь, я стал чуть мудрее и понял, что в молодости не принимал кое-что только потому, что незрел. А теперь это совпадает с моим собственным восприятием вещей, которое в данном случае передалось не по наследству, а выстрадано мной самим. И это удивительное открытие.

— Игорь Васильевич, вернемся к Достоевскому, о котором много говорят и пишут как о проводнике. Но, думаю, время, в котором вы с нами живем, он не мог предвидеть.

— Нет, он предвидел — предвидел ту пропасть, в которую катится Россия, ту роковую черту, перед которой мы стоим. Я думаю, что это происходит совсем не потому, что одни политические силы побеждают другие. Причины

много глубже. И мне страшно не за себя, мне страшно за молодежь. Я 25 лет преподавал во ВГИКе, воспитал множество режиссеров, которые теперь разбросаны по ближнему зарубежью. Они звонят мне сейчас чаще, чем во все предыдущие годы, потому что чувствуют свою оторванность, тоску по тому времени, когда мы были вместе... Два-три поколения сейчас выпадают из-за полного духовного разрыва поколений, из-за того, что сегодня все можно, все дозволено, все доступно — деньги, место, положение, наслаждение.

Понимаете, с позиции православной христианской морали и нравственности за все, что свершается в этом мире, и за все, что происходит с тобой, отвечаешь только ты, и в твоей власти жить так или иначе. Вот это чувство ответственности за происходящее у многих молодых людей отсутствует, и раз есть такая возможность, надо рвать, хватать, наслаждаться... Этот поток порнографии, скверзости, извращенного эротизма, который выливается на молодых с экрана и печатных страниц, не пройдет для них бесследно.

— Что же это за духовность такая, если за какие-нибудь восемь-десять лет ее можно разрушить до основания? Может быть, и не так она глубока бы-

ла, как мы об этом много говорили!

— Понимаете, чтобы вырастить розу, надо сначала прорастить семечко, потом — росточек, росточек посадить в грунт, ухаживать за ним — обрезать, подкармливать, на зиму укрывать... А сколько времени надо, чтобы куст уничтожить? Одно мгновение. Вот ответ на ваш вопрос. Борьба со злом намного труднее, чем кажется, особенно когда попустительствуешь ему в силу неразумения, а чаще корыстных расчетов.

Когда я так говорю, я не думаю, что историю можно повернуть обратно, — она как идет, так и идет по путям Провидения. Это мы думаем, что мы ее творим. История нерукотворна, но когда мы попустительствуем недоброму — это наша вина. А духовный наш потенциал как был, так и остался — просто он сейчас остается невостребованным.

— Вы заметьте, — это тоже относится к духовности — в России пока нет катаклизмов гражданской войны. Она может быть, но пока ее нет, не смотря на то, что происходит вокруг. Это о чем-то говорит, что-то еще держит людей.

Держит это идущее издревле состояние духа, нравственности, привычек, то, что бросает нам в лицо как оскорбление: «А вы все терпите...».

ЭТО

НАША БОЛЬ

Как личность я формировался в годы войны, тогда я был мальчишкой. Мы видели запредельную гнусь, мерзость и высоту подвига и нравственно-го поступка. Мы выросли на этом. Поэтому я много думаю о поколениях, которое растет сейчас, за которое мы все ответственные.

— Вы помните, нас с трибун учили нравственности и духовности те, кто на это не имел никакого права. И один философ заметил, что с высокой духовностью надо очень осторожно обращаться, потому что она может быть очень низко расположена. Ведь это так и было.

— Но те, о ком вы говорите, не определяли духовный климат общества — мы никак не можем этого понять, — не определяли климат искусства, в котором мы работали. У каждого из нас была своя ниша. Я прожил большую жизнь, был и на гребне славы, и был топтан в последние годы, но я не сделал ни одной картины, которую бы не хотел делать. Я не делал ни одной заказной картины — только те, что интересовали меня, где я мог высказаться и говорить от имени моего поколения, с высоты своего жизненного, социального и нравственного опыта. Теперь это безумно сложно сделать.

И мне жаль тех молодых, которые сегодня пришли в кино. Они должны приспособиться и делать то, что заинтересует какого-то бизнесмена-продюсера, дающего деньги, должны насильно себя. А когда художник делает это, он разрушает себя как личность.

— Но ведь и на Западе, в Европе, мы сейчас об этом знаем, почти всем сегодня великим и известным режиссерам приходится зарабатывать деньги на свои первые фильмы, снимая рекламные ролики или занимаясь бизнесом.

— Я не про это говорю. Я жил в Америке в 1963 году целый месяц, был в Лос-Анджелесе и Голливуде. Меня тогда поразило то, что между собой они разговаривают только о том, кто сколько получил, что сколько стоит... Для меня это была жизнь в аквариуме. Я бы не мог там жить! Было такое впечатление, что они извлекают кислород из воды, а я — из воздуха.

На Западе есть определенный уровень комфорта, определенный стиль жизни — надо зарабатывать деньги, и каждый должен отвечать за себя. Там эта жизнь приобрела какие-то благоприятные формы. Но посмотрите, что сейчас: литература деградировала, кинематограф находится в состоянии агонии большей, чем у нас. У

нас — я уверен — еще будут взрывы. Агония сегодня охватывает весь мир, во всяком случае — европейскую цивилизацию. Такое впечатление, что мир замер в ожидании чудовищных катаклизмов.

И вот это же я вижу сейчас здесь. И молодые режиссеры, и режиссеры среднего возраста озабочены одним — где найти деньги. И у меня фильм стоит — уже год, как разрушена группа, хотя картина взята за город и жить в палатке, а не тому, что у тебя есть стол красного дерева. И это был стиль жизни страны, а не одиночек.

Можно обвинять меня в том, что я брюзга. Но это не так. С возрастом на все смотришь трезвее и жестче и понимаешь, что жизнь — это не комедия, не фарс, а трагедия, которую каждый переживает в одиночку. А потому и катарсис не может быть массовым. Искусство должно быть индивидуальным, служить каждому человеку, а у нас оно массовое, для массовки.

— Я во многом согласна с вами. Но в послевоенной нашей жизни, полной оптимизма — так же, как и в кипучих довоенных стройках и пятилетках, — было много крови, лжи и фальши. И наш кинематограф тиражировал эту ложь и фальшь. И сейчас с ужасом ду-

— Я бы сегодня не снимал «Сережу», потому что его нет в жизни. В ушедший поезд не вскочишь. Художник делает только то, в чем он живет или о чем он тоскует. Та картина была сделана в удивительное время. Мы были тогда молодыми, жизнь была полна оптимизма и радости. Вы посмотрите хронику тех лет — какие открытые у всех лица! Может быть, из-за этой открытости мы многое и профукали. Уж очень веселились, балдели и радовались жизни. Был другой — особенно после войны — настрой. Радовались бытию, тому, что есть любимая девушка, друзья, что можно уехать за город и жить в палатке, а не тому, что у тебя есть стол красного дерева. И это был стиль жизни страны, а не одиночек.

маше о том, что ты веселился и любил в то время, как где-то рядом кого-то пытали, кого-то расстреливали, над кем-то издевались...

— Это действительно так... Все это было, и об этом многие догадывались, подозревали, а многие и знали. И надеюсь, что это никогда не повторится. Но когда мы потом будем оглядываться на эту эпоху, мы будем смотреть на нее так же, как сегодня смотрим на эпоху Ивана Грозного или Петра Первого. Он, создавая, пролил море крови. Когда я хожу по Петербургу, по его мостовым, я ощущаю, что подо мной человеческие кости. В этом противоречие и сщепление жизни. Да, такова жизнь, таково движение беспощадной истории, от которой нас не уберегли бы никакой царь, монарх или сверхличность. И при всем этом художник, зная кровавую историю и ощущая эту кровь, обязан отстраниться, подняться над жизнью и посмотреть на нее с высоты птичьего полета. Иначе он не художник.

Да, мы жили в тоталитарном государстве. Но кто давал снимать бесконечно длинные фильмы Хуцневу? Кто давал снимать Тарковскому? Это неправда, что ему не давали снимать. Он снял «Сталкера» три раза. Он гениальный мастер, но на Западе ему бы не дали снимать три раза. Вы сами видели — там он снимал недорogie картины. А у нас он, будучи совсем мальчишкой, снял «Рублева» — в то са-

мое тоталитарное время. Между прочим, в жестокое время жили и Микеланджело, Леонардо, Эль-Греко. Не так уж было худо. Те, кто правил, понимали мощь, силу и значение искусства. Иногда этим искусством они пытались оправдать свою жизнь, пролитую ими кровь. Вот такая диалектика истории...

— У вас ностальгия по прошлomu!.. Вам не нравится сегодняшняя жизнь?

— Нет, я не живу прошлым, я живу сегодняшним и будущим. Если бы меня не устраивал сегодняшний день, я бы уехал куда-нибудь «в глушь, в Саратов». Как можно не принимать жизнь — хороша она или плоха? И сегодня я полон планов, которые, хочется надеяться, смогу осуществить.

Но сегодня происходит страшное. Мы много говорим о том, что нет средств восстановить какое-нибудь разрушенное здание — памятник старины. А рядом рушится живое, выстраданное нами — я говорю о «Мосфильме».

Можно не печатать романов, повестей и рассказов. Настоящий писатель будет писать в стол, как это было всегда, может быть, и не увидит изданными свои произведения, которыми отдал свою жизнь, свою кровь. Но кто-нибудь обязательно найдет рукописи и прочтет. То же самое с музыкой. А мы работаем в кинематографе — это целая индустрия, где масса техники, где задействовано огромное количество людей, — все это без дота-

ций, без государственной помощи сейчас гибнет. Почти все богатство советского кинематографа создано на «Мосфильме». И это все сегодня развалено. Это парадокс. То, что создано было государством, на что были потрачены колоссальные средства, — все это может разлететься, лопнуть.

Сейчас самый острый, кризисный момент. Если «Мосфильм» будет приватизирован, это значит, что через некоторое время он может обанкротиться, поступит на торги, и выйдет некто из-за кулис и купит его. Для видимости, может быть, и будут сниматься какие-нибудь клипы или эротика. Но кинематограф погибнет.

Мы плюем, если хотите, на то, чем восторгался весь мир — это было мощное искусство. И сейчас мы рушим то, что является наибольшим средством воздействия и на молодежь, на людей всех возрастов... Ведь все бывшие советские люди, а теперь россияне (звучит, как марсиане) в общей массе своей воспитаны на кинематографе. И все выросли на советском кино. Они-то могут понять, что если это будет порушено, то порушено будет многое. Это крик души всех моих коллег. Это наша боль. Мне кажется, что Президент уже начинает понимать, что так нельзя обходиться с культурой. Разрушить легко — создать трудно.